

Инна ШТЕЙН

ПРОСТРАНСТВО СУЖАЕТСЯ

Когда Марье Григорьевне было шесть лет, в комнату, где она спала вместе с родителями, влетела летучая мышь. Проснувшись от шума, Манечка села в своей кровати со спускающейся железной сеткой и смотрела, как папа пытается выгнать в окно нечто черное, не похожее ни на мышь, ни на птицу. Страха она не чувствовала. Страшно было как раз несчастной, совершенно ошалевшей от света летучей мыши, которая билась о стены и потолок.

На шум явилась из соседней комнаты бабушка Полина Моисеевна, сказала, что их уже слышно на Малороссийской, что летучая мышь — это не к добру, и что папа действует совершенно неправильно.

— И как же, по-вашему, правильно? — поинтересовался папа, которому глубокой ночью вдобавок к летучей мыши не хватало только тещи.

— Лично я бы выключила свет, — ответила Полина Моисеевна и с тонкой ироничной улыбкой наблюдала, как зять слезает со стола и направляется к выключателю, рядом с которым она стояла.

Густая июльская тьма влилась в комнату и наполнила ее до краев, заблудившаяся тварь благодарно пискнула, на мгновение заслонив собой Большую медведицу и сгинула.

— Бабушка, а почему летучая мышь — не к добру? — спросила на следующее утро Манечка.

Полина Моисеевна, всегда подробно рассказывающая обо всем, что интересовало внучку, на этот раз отвечать не захотела, пробормотала что-то по-еврейски и послала ее гулять во двор.

Маня была девочка умная, она поняла, что за этим нежеланием скрывается что-то серьезное. Но что? Задумавшись, она сделала то, что ей категорически запрещалось: вышла из ворот, миновала изрытый осколками фасад с надписью "Проверено. Мин нет", перебежала через дорогу и оказалась в парке Ильича. Пройдя мимо дедушки Сталина и дедушки Ленина, которые сидели, как влюбленная парочка, на гипсовой скамье и наблюдали за распростершейся у их ног великой страной, Манечка пролезла сквозь густые кусты и оказалась возле стены, вдоль которой лежало несколько могильных плит.

Безнадежно тоскливый рык донесся из-за стены, и девочка сочувственно вздохнула: она жалела старую, побитую молно львицу с желтыми слезящимися глазами. Томившиеся в клетках звери были знакомы с младенчества, и относилась она ко всем по-разному: слона, несмотря на его внешнее добродушие, опасалась, белку, бессмысленно крутившую колесо, презирала, змеями брезговала, а крошечного мартышонка, висевшего у мамы на животе, не отказалась бы иметь в качестве младшего братика, которого ее собственные родители ей никогда не обещали. Может, если бы Манечка попросила, они бы подсустились, но она молчала — стеснялась.

Ни одного вертикального памятника на могилах не сохранилось, последний разбился прошлым летом, убив насмерть соседского Павлика — мальчика оторви и брось, который бесстрашно лез всюду и везде и всю свою короткую жизнь прихотил в ссадинах, синяках, царапинах и шишках. Впрочем, это было не бесстрашие, а какое-то врожденное полное отсутствие здравого смысла. Бог знает, кем бы вырос Павлик, если бы не вскарабкался на мраморный столб, изборождавший срубленное дерево. В гроб, где лежал синюшный Павлик, Маня положила собранный ею в парке букетик аптечной ромашки, и мама мальчика, первая на всей Хуторской блядь, прошептала: "Спасибо, деточка". Ромашки были призваны заглушить угрызения совести: она как-то категорически отказалась дать Павлику поиграть своим сине-красным резиновым мячиком. Судьба резинового сокровища ее теперь несколько не волновала, она готова была отдать в исцарапанные грязные лапки

даже свою любимую куклу Маню-маленькую. Но было поздно.

Всю свою дальнейшую жизнь Марья Григорьевна героически сражалась с присущей ей жадностью, иногда одерживала победу, иногда проигрывала.

Рассматривая непонятные знаки на обломках памятника, Манечка догадалась — влетевшее в комнату существо, ползуверь, полуптица, означало смерть. Умереть, конечно же, как самая старая должна была бабушка Поля. Мысль о том, почему летучая мышь оказалась в их комнате, а не в бабушкиной, умной Манечке в голову не пришла.

Время шло, Полина Моисеевна все жила и жила. И воспоминание о ночном происшествии исчезло? Нет, не исчезло, а спряталось там, где прячутся все воспоминания, чтобы когда-нибудь выкатиться в старческую ладонь ярким синекрасным резиновым мячиком.

Бабушка умерла через пять с половиной лет, в январе пятьдесят девяти года, от рака груди. Первые признаки болезни она обнаружила вскоре после перелома с летучей мышью. Умирала бабушка тяжело, она не выносила солнечного света, ставни были закрыты, правая рука колодой лежала поверх одеяла, и когда Манечку привели прощаться (они уже три года жили в новой квартире), она погладила ее по голове левой здоровой рукой.

Хоронили Полину Моисеевну в саване, но гроб был почему-то открыт, хотя положено, чтобы был закрыт, и кто-то чужой спросил Маню: "Хочешь увидеть бабушку?" — а кто-то другой, не менее чужой, возразил: "Пусть ребенок запомнит Полечку живой". Тем не менее, саван приоткрыли, и она увидела нечто неопределимое, никакого отношения к бабушке не имеющее, и конечно же, запомнила ее живой.

"Никто не знает, как я ее любила", — со смешанным чувством горечи и гордости думала перед сном Маня (в школе ее звали Машей). У нее была теперь своя собственная комната и, лежа на диване, она просила Бога, чтобы мама и папа не умирали и чтобы противные пупырышки, появившиеся недавно на бедрах и предплечьях, исчезли. Никто и никогда не упоминал при ней о Боге, ни как о реально существующей высшей силе, ни как об абстрактной идее, что-то такое смутно проскальзывало в подвздошных идеологическом обрезающем сказках, написанных сыном пращки, а период запойного серьезного чтения еще не наступил. Так что вопрос о том, каким образом Маня сообразила, кому именно надо адресовать свои просьбы (оказавшиеся, кстати, совершенно невыполнимыми), остается открытым.

Первые признаки болезни Марья Григорьевна почувствовала в том же возрасте, что и Полина Моисеевна. Тайный страх, что это с ней непременно произойдет, маленьким ржавым гвоздиком сидел в ней долгие годы. Если бы не эта мерзкая железяка, она не обратила бы внимания, что уже некоторое время чувствует нечто лишнее в подмышечной ямке, а сухожилия, нервы и вены левой руки оказались как бы натянуты. Надо было идти к врачу. Марья Григорьевна не принадлежала к унылой породе вечно больных, забронированных места в поликлинике, и решила сначала сделать УЗИ — а вдруг обойдется? Но не обошлось.

УЗИстка показала ей на экране маленькое черное пятнышко, объяснила, что это воспалился лимфатический узел, и успокаивающе произнесла:

— Вы не расстраивайтесь заранее, женщина. У одной нашей врачихи было точно то же самое, никто диагноз поставить не мог, а потом оказалось, что это артрит плечевого сустава.

Выслушав этот вполне доброжелательный текст, Марья Григорьевна почувствовала спазматическую боль в области желудка, обычно в беллетристике обозначаемую словами "Сися дике ее сжалось".

Женщина-хирург, которой она, пы-

таясь задобрить судьбу, сунула двадцать гривен, направила ее к онкологу. Маленький, кругленький, весьма интеллигентного вида мужчина помацал брезгливо бедную подмышку, пожаловался, что его отец был главным онкологом Московской области, а вот он вынужден прозябать в районной поликлинике, и выписал бумажку, с которой следовало явиться в областную диспансер.

И завертелось. Все по полной программе: операция, облучение, химия. После операции Мария Григорьевна не смогла начать дышать. "Она же пухлая ловит!" — расслышала она сквозь еще не рассеявшийся наркозный туман крик анестезиолога и исчезла из этого мира. В другом мире был не ноябрь, а май, она стояла в своей комнате на втором этаже деревенского дома и смотрела на мумифицированное тельце воробья, лежащее на полу возле ее кровати. Окно было закрыто.

После двадцати четырех сеансов радиологии удачливая Марья Григорьевна получила ожог в неудачном месте — все в той же подмышечной ямке. Химиотерапия тоже не обошлась без приключений (впрочем, это удовольствие редко обходится без приключений). Во время первой капельницы началась пирогенная реакция: стало очень жарко, руки и ноги утратили связь с центром, который управлял их движениями, и самопроизвольно задержались. Муженек побежал за медсестрой Наташей.

"Такое бывает. Но редко. Наверное, физраствор плохой попался", — сказала накрахмаленная Наташа и убежала. Соседка по палате, в надвинутой по самые брови хустынке, налила из своего термоса настой из какой-то пахучей травы, и Марья Григорьевна, стуча зубами о край чашки, стала пить его маленькими глотками. Горячая жидкость как-то уж слишком быстро достигла последнего пункта назначения в организме, и она прошептала мужу: "Хватит".

Следующие полчаса были посвящены сражению со стыдливостью: мочевой пузырь распирало все больше и больше. Это весьма неприятное ощущение сменилось просто ужасным — внезапно очень сильно заболела поясница. Муженек побежал за медсестрой Наташей. "Удар по почкам. Химия-то у вас красная", — исчерпывающе объяснила Наташа и убежала. Приступ почечной колики кончился так же внезапно, как и начался, зато мочевой пузырь определенно собрался лопнуть. Лежать мокрой не хотелось. Скрипящий от мучительной неловкости, она злым голосом прошипела: "Писать очень хочется". Муженек, впервые исполнявший супружеский долг, несколько отличающийся от обычного, заснул утку выше, чем требовалось, — не рассчитал. Оставшиеся несколько часов все же пришлось лежать мокрой.

На двадцать первый день после первой химии начали выпадать волосы. Предупрежденная Марья Григорьевна представляла себе процесс облысения иначе: она думала, что проснувшись одним совсем не прекрасным утром, обнаружит все свои крашенные негустые, но вполне ее устраивающие волосы на подушке. Не тут то было. Они покидали голову неохотно, и через месяц отдельные пряди в отдельных местах все еще наблюдались.

— Немедленно срезать! — приказала Вадимовна, царь и бог отдельной лекарственной терапии. — У меня была пациентка, восемнадцатилетняя девушка, так у нее было двадцать три химии. Она говорила, что согласна перенести все что угодно, только бы жить. Какие у нее выросли роскошные кудрявые волосы — все подруги обзавидовались!

Идти к любимой парикмахерше Светочке было немисливо, но в больнице оказалась своя парикмахерская, и очень милая толстушка сбрила машинкой оставшуюся жухлую, как прошлогодняя трава, растительность.

— С вещами на выход! Я — Котовский! — радостно завопил, увидев мамашу, обожаемый сынок. И Мария Григорьевна заржала.

Все оказалось не так уж страшно.

Химий было всего четыре, разные мелочи типа стоматита, гнойных ран от ожога, томительных, несовместимых со сном болей в здоровой груди и позноночнике можно было пережить. Зато удивительно повезло: почти не тошнило, депрессия, неизбежная при этом лечении, случилась какая-то хилая, и ее почти удавалось заглушить вернувшимся из юности запойным чтением. Книгами снабжали наконец-то допущенные к телу подруги, и даже давно уехавшая семейная пара из их старой компании прислала никем еще не читанный "Код да Винчи", само собой, на английском языке.

Судьба, желающая продемонстрировать, что в этой жизни плохое и хорошее стануто в один узел, послала Марью Григорьевну кроме болезни еще один подарок: изменившееся отношение мужа. И не то чтобы он пил, бил, по бабам бегал, упаси Боже, такие страсти-мордасти к их семье никакого отношения не имели, но вот с общением были проблемы. Доверительные беседы, обсуждения книг и фильмов, особенные ночные разговоры, сближающие больше других ночных дел, — все это постепенно исчезло. Остались фразы: "Иди кушать" и "Перестань храпеть", диалоги стали короткими: "Ты заплатил за телефон?" — "Нет". — "Так отключат же!". Четвертая реплика окольцованного приятеля, а остальные пусть остаются в счастливом неведении.

Они давно уже понимали друг друга без слов, сознание говорило, что это нормально и даже хорошо, но глупое нестарееющее сердце просило телесных нежности. Казалось, что муженек то ли окончательно ушел в себя, то ли одно из двух. Оказалось, что только казалось.

Она вновь стала Манечкой, ее кормили вкусеньким, водили гулять к зимнему, такому любимому и прекрасному морю и велели держаться покрепче, чтобы, не дай Бог, не поскользнуться. Манечка вспоминала, как еще до замужества они смотрели "А зори здесь тихие" и крепко-крепко держались за руки, как он часами прятался за стволом акации на другой стороне улицы, когда ее родители запретили ей с ним встречаться, какие глупые и глупостные, казавшиеся им ужасно смешными стишки сочиняли они вместе.

И Марья Григорьевна чувствовала... Что? Радость? Благодарность? А фиг вам! Она никак не могла взять в толк, почему любовь надо было так далеко прятать и продемонстрировать только по поводу рака груди. А еще считала себя умной... Чем лучше становилось Марье Григорьевне, тем меньше знаков внимания ей доставалось. И вот, получив вторую группу инвалидности, она вышла на работу, делала базар, готовила, убирала. Все стало как прежде, за исключением исчезнувшей части тела, и еще маленький ржавый гвоздик превратился в сверкающую стальную иглу, похоже, ту, которая из ларца да яйца. О груди она грустила не очень, во всяком случае, гораздо меньше, чем семидесятилетняя соседка по палате, плакавшая горькими женскими слезами: "Сися моя, сися, зачем тебя отрезали?"

Прошло три года. С начала апреля Марья Григорьевна стала ездить в деревню — любоваться цветущими деревьями. Муженек сажал огород. В доме было холодно, и окна не открывались. Тем не менее, в один из приездов она обнаружила сидящую на подоконнике юную ласточку, для которой в русском языке нет специального слова, а в украинском есть "ластівеня". Мария Григорьевна толкнула раму, взяла обалдевшую птичку двумя пальцами, но не просто так, а через занавеску, и выпустила на волю. Иголка, зашевавшая в сером веществе, резко дернулась и произвела весьма болезненный точечный укол. Как там пишут в романах: "Догадка молнией блеснула у нее в мозгу"?

Действительно что-то такое сверкнуло, и она вновь увидела деревянный воробьиный трупик, который был, несомненно, предупреждением, правда, заблудившимся во временах и мирах.

За окном оглушительно чирикали скандальные воробы, ласточки чертили в небе сложные геометрические фигуры, пыльные жаворонки то прыгали по разбитой дороге, ведущей к лиману, то исчезали в звенящей тугой синеве, дятел сосредоточенно долбил ствол старой шелковицы, красавец-удод гордо скакал по коньку крыши, неведомо откуда явилась даже иволга, то ли из москальской средней полосы, то ли напрямик из песни.

И все эти, блин, птички норавли естественным и сверхъестественным путем проникнуть во внутреннее, такое уютное и обжитое пространство, чтобы напомнить о бренности бытия. Или по-простому, по-народному, без эвфемизмов, о смерти. Может быть, скорой. И вполне может быть — мучительной.

Выход был, и очень простой: вставить сетку. Но на том месте, где сетка зимовала, ее не было. Нашлась она часа через два в мастерской. Состояние оказалось нерабочее — ячеистое полотно оторвалось от некрашенных планок и готово было пропустить не только желательный воздух, но и нежелательных крылатых гостей.

На первую просьбу о помощи муж прореагировал так, как реагируют мужчины всех национальностей и возрастов:

— Что, прямо сейчас?

— Парни, парни, это в наших силах, — отчаянно фальшивая, но как положено, громко и бодро пропела она и отстала.

Вторую просьбу Мария Григорьевна, обогащенная солидным опытом семейной жизни, высказала в следующий приезд — через неделю, на что получила ответ, общее содержание которого сводилось к тому, что мух еще нет.

В своей любимой комнатке она чувствовала себя теперь узницей. Темница, правда, была вполне сухая, зато воздух...

— Это разве воздух? — спрашивала она у себя самой, и сама же себе отвечала: — Это кисель! И притом прокисший.

Тон третьей просьбы, одновременно и жалобный, и угрожающий, заставил мужа-рыбу вынырнуть из темных вод и поинтересоваться причиной такой настойчивости, навязчивости, прилипчивости.

— Я тебе потом объясню, — неопределенно пообещала супруга.

О чем она могла ему рассказать? О том, как ей страшно? К тому же, высказанные мысли материализуются. Нет, никак, никак нельзя было ничего объяснить самому близкому в мире человеку, и она смолчала. Наверное, это было ошибкой. Вынесенные на свет божий страхи, может, и становятся явью, зато не вынесенные — сжирают изнутри. Не можете сказать, так плачьте, рыдайте, ревите белугой. Облегчите душу.

Марья Григорьевна, считавшая вполне естественным свое внешнее спокойствие перед операцией, была поражена, когда следующим утром забравший в палату анестезиолог сказал:

— Поплакать надо было перед операцией, поплакать. Загнала свои чувства внутрь, вот и задыхать не могла. Испугала в усмерть.

Оказалось, что мужество может быть вредным для здоровья. К тому же, было стыдно за доставленные врачам лишние хлопоты.

Сетку починил сосед. То, что чужие просьбы исполняются гораздо быстрее, чем просьбы родных, — это такой же закон природы, как и закон всемирного тяготения.

Комната уже не казалась клеткой, погода установилась, можно было читать на воздухе, выйти за калитку и сорвать беленький, цепляющийся за траву пахнущий летом выюнок.

За огородом открывался лиман, кручи, и огромные, постоянно меняющие форму облака отражались в сонной воде, мир был одновременно пуст и наполнен, и так прекрасен, что начинало ципать в глазах. Слезы, которые никак не желали пролиться по другим поводам, вызывала у нее красота.

Только бы жить на этом свете.